

Вступительные заметки

la mercede
ch'el meritò nel suo farsi pusillo¹.

PAR. XI, 110–111

1 ОТПЕВАНИЕ ЖАВОРОНКОВ

3 или 4 октября 1226 года Франциск (еще не «блаженный Франциск», не «святой Франциск» и даже не «Франциск Ассизский»: его канонизировали два года спустя) умирал в Порциунколе, в братском приюте возле церкви Санта Мария Ангелов. Ему было 45 лет; 20 из них он прожил, как тогда говорили (как и сам Франциск сказал в «Завещании»), «оставив мир». «Оставить мир» и тогда, и теперь обычно значит: принять монашество, жить в особом, отгороженном от мирского хаоса пространстве монастыря или даже в скиту, в необитаемых чащах и пустынях. Такой уход из мира был давно вписан в общепринятые устои общества и «легализован» веками христианской цивилизации. Но для того пути, в который пустился Франциск (точнее сказать: к которому его призвали), маршрут в окружающей его реальности не был проложен. Это было совершенно невиданное к тому времени предприятие. Он «оставил мир», чтобы служить Госпоже Ницете,

*той, которой, как смерти,
никто с радостью не открывает дверь*².

¹ ...та награда, / которую он заслужил тем, что сделал себя ничтожным (или: малым ребенком).

² PAR. XI, 59–60.

Франциск с радостью открыл дверь Нищете; даже больше: он ее пригласил. Как самую дорогую гостью, как невесту. Сама она и не собиралась стучать или врываться к нему без стука, как к изгнаннику Данте.

Франциск вырос в богатой купеческой семье и любил роскошь: роскошь в одежде (он даже сам себе придумывал покроя одежды), роскошь в кушаниях (он предпочитал ничего не съесть, чем съесть невкусное) — но особенно роскошь щедрости, переходящей в мотовство. Он был щедр не по-купечески; щедрость — привилегия другого сословия, аристократии. И юный Франциск мечтал о дворянстве, о том, что его произведут в рыцари. И вот — неожиданно для своих веселых друзей, для семьи (отец, Пьетро Бернардоне, пытался объявить его безумным) — он всей душой захотел быть нищим, самым нищим из нищих: не раздавать подаяния (этим он всегда занимался), а просить милостыню от порога к порогу и не иметь где главу преклонить. Его влюбленность в Госпожу Нищету была похожа на служение трубадура своей Даме (это не случайное сравнение; я еще скажу об этом). Он обещал ей верность до смерти.

А как сложится это служение — у него не было планов и замыслов. У него и в дальнейшем не было никаких планов и замыслов: о каждом своем последующем шаге он спрашивал в молитвах. Он ничего не хотел предпринимать по собственному произволению. Слова, которые мы ежедневно повторяем: «Да будет воля Твоя!», он принимал прямо и «без толкований». Любую волю, выраженную ясно и прямо, он исполнил бы со всей решимостью. Трудно было другое: узнать и правильно понять эту волю в каждый момент. Читатель книги увидит, как невыносимо трудно было Франциску в какое-то время выбрать между двумя «формами жизни»: отшельничеством — и проповедничеством. Душа его в последние годы просила первого, но узнать, какое решение угодно Богу, он просил у братьев и сестер, известных своим молитвенным даром. Ответам, которые они получают, он доверял больше, чем тому, что услышал бы сам.

Он не только не заглядывал в будущее, чтобы как-нибудь, с помощью собственных решений и планов,

овладеть им: он не знал и своего настоящего. Ничего хорошего о себе он не знал. Все, что с ним происходило, как будто творилось на новом месте, из ничего.

Вот одна из моих любимых историй о Франциске. На горе Верна брат Лев, которого Франциск за его простой и кроткий нрав прозвал братом Овечкой, издалека подсмотрел, как Франциск молится, говорит какие-то непонятные слова и делает странные движения, и стал расспрашивать его, что это было. И Франциск рассказал ему:

«И среди иного Он сказал мне, чтобы я принес Ему три дара, и я отвечал:

— Господи мой, я весь Твой, и Ты знаешь, что у меня нет ничего, кроме рубахи, да опояски, да исподнего, но ведь и эти три вещи — Твои. Что же могу я принести в жертву Тебе или что я могу подарить величию Твоему?

И Бог говорит:

— Поищи в лоне твоём и, что там найдешь, отдай мне!

Я поднес руку — и нашел за пазухой шар из золота, и отдал его Богу: так сделал я трижды, потому что трижды требовал этого Господь. Затем трижды преклонил я колени и благословил и благодарил Бога, Кто сам подал мне, что принести Ему.

И здесь было мне открыто, что эти три приношения означали святое послушание, высочайшую нищету и преславную чистоту, какие Бог по милости своей даровал мне соблюсти так совершенно, что сам я о том и не ведал. Вот ты и увидел, как я кладу руку на грудь и отдаю Богу три эти добродетели, знаменуемые тремя шарами из золота, а их Господь сам положил мне в колени» (Размышления о СТИГМАХ. III).

Золотые шары, оказавшиеся за пазухой — и только в тот момент, когда их просят отдать, — вот царственная нищета Франциска. А о том, что исполнить что-либо в совершенстве или обладать чем-либо хорошим значит и не догадываться о том, что ты это сделал и что у тебя это есть, — об этом Франциск узнал оттуда, откуда он узнавал всё:

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Мф. 6, 3).

Из исторической дали святого Франциска Ассизского назовут основателем первого нищенствующего Ордена. Но то, что с ним происходило в момент его обращения, и в перспективе не имело в виду основания какого-то особого сообщества, братства, Ордена. Это было взрывное явление какой-то неописуемой новизны. «То, что было для меня самым горьким, стало сладчайшим», как Франциск напишет в «Завещании», сообщая о перевернувшей его жизнь встрече с прокаженным. После этого ему оставалось только идти по свету и сообщать всем, кто готов услышать, о том, что такая радость есть, что она возможна: то есть сообщать о Евангелии как о самом свежем, только что им лично полученном известии.

В исторической дали эту новизну Франциска мы будем обсуждать; будем описывать, как она изменила самый воздух эпохи, ее освещение, ее температуру. Изменила время суток и время года души, так можно сказать: там, внутри наступило утро, наступила ранняя весна, «кончилось оцепенение», как написал его первый биограф Фома Челанский, «явилась утренняя звезда», как сказал Папа Григорий IX на его канонизации. «Как будто взошло новое солнце», в один голос говорили об этом современники и повторил за ними Данте: не только те, кто знал и встречал Франциска, — но даже те, до кого только доходили слухи о его словах и делах. От одних рассказов о нем «словно некий свет распространялся по земле и вся тень ночная бежала от него» (Первое житие Фомы Челанского. XV, 36).

Историки, и особенно историки искусства, будут связывать Франциска с предвозрождением и предгуманизмом, что, на мой взгляд, не совсем точно. Возрождение — после «темных веков», как стало принято называть Средневековье, — возрождало классическую античность, гуманизм — изучение классических языков. Никого похожего на дантовского Вергилия или петрарковского Цицерона у Франциска не было. Рядом с Учителем он не думал о других учителях. Он называл себя простецом (*idiota*) и невеждой, и в его требование совершенной нищеты изначально входило воздержание от богатой учености. О классической античности Франциск просто не вспоминал. Ни о ее авторах, ни о ее мифах, ни о ее героях и философах. И новый свет, о котором говорил

биографы Франциска — и который даже теперь, читая о нем через 800 лет, мы можем ясно почувствовать, — совсем не тот свет, который заключает в себе античная красота, и тем более — красота Возрождения.

Если Франциск «обновлял» или «возрождал» что-то, то совсем другое. Впрочем, если бы ему сказали, что, впуская свет в темный дом, зажигая в тусклом и простывшем существовании свой огонь веселья — *laetitia spiritualis*, «пламя небесной отчизны», его словами, — он что-то «возрождает» или «пробуждает к жизни», я думаю, он бы удивился. Он хотел одного: исполнить то, что наказано в Евангелии: исполнить прямо и «без толкований»! Сказано: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10, 9-10) — вот так и делайте. И без толкований! Сказано: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8) — так и делайте. И без толкований! Сказано: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34) — так и делайте. И Франциск не позволяет братьям готовить или откладывать еду про запас на завтрашний день.

— Но это сказано не всем! — со страхом возразим мы. — Это сказано апостолам.

Вот именно. Невиданная дорога Франциска, с которой мы начали, и была дорогой апостолов. Больше тысячи лет христианский мир думал, что эта дорога осталась где-то в других временах, в другом пространстве. В исторической дали, в Священном Писании. Франциск вышел на эту дорогу один. Очень скоро к нему стали присоединяться братья, один за другим. Он не созывал их. «Бог дал их мне», — сказал Франциск в «Завещании».

И вот что удивительно: новый апостол нес евангельскую весть не язычникам, не людям, которые о Христе не слышали, а своим соотечественникам, в стране, которая уже почти тысячу лет была христианской! Где люди регулярно ходили на воскресные службы и читали дома молитвы.

Где те евангельские истины, которые сообщал Франциск, вообще говоря, были известны (образованным людям во всяком случае; что об этом знали «простецы», те, кто не понимал латыни, — труднее представить: ведь и богослужение, и молитвы, и все духовные тексты существовали только на латинском языке). Более того, Франциск обращался не к неверующим, а к верующим. Почему в сообщении Франциска все это оказалось такой поразительной и увлекающей новостью? К Франциску стекались толпы. Движение распространялось, как пожар, переходя границы стран и языков.

Читая рассказы о Франциске, о его встречах с разными людьми, о его ответах им и действиях, я часто вспоминаю один евангельский эпизод. Воскрешение Лазаря, разговор Христа с Марфой. Этот разговор — даже больше, чем само воскрешение, — всегда казался мне кульминацией этой истории.

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 23–25).

Христос обращается к верующей Марфе. Ее вера (и даже ее знание о воскресении) помещает невероятное событие куда-то на горизонт времени, в последний день. Христос говорит: Я здесь — и значит, горизонт здесь, последний день здесь.

Что-то похожее делает Франциск с верой тех, с кем он общается (как мы заметили, он обращается не к неверующим, а к верующим). Веру в некий далекий горизонт жизни, где все происходит по-настоящему, он делает верой в прямое присутствие этого горизонта, этого «совсем настоящего» здесь, сейчас, с нами, верой в то, что последний день и его правда уже здесь, и потому «если и умрет, оживет».

Так мы возвращаемся к началу. К другой никому не желанной гостье, с которой Данте сравнил нищету, — к смерти. Франциск и ей почтительно открыл двери. Услышав от врача о своей предрешенной и очень скорой кончине, Франциск помолчал — и сказал:

— Добро пожаловать, сестра наша смерть!

И уже совсем приблизившись к кончине, добавил в свою «Песнь брата Солнца» последние стихи:
*Хвала Тебе, Боже мой, о сестре нашей
смерти телесной,
ее же никто из живых не избегнет...*

Это только «первая смерть». Бояться же следует «смерти второй», вечного осуждения. В том, что ему «вторая смерть» не грозит, Франциск получил уверение еще за два года до кончины.

Он хотел умереть в Порциунколе и просил перенести его туда. Уже съеденного до костей болезнями, почти ослепшего, его несли из госпиталя крестоносцев, который располагался на полпути из Ассизи в Порциунколу. На пути он попросил остановиться, повернуть его лицом к Ассизи, чтобы благословить родной город. Он встал на колени, помолился и сказал свое благословение. Это благословение, высеченное на камне, и теперь можно прочесть на Новых Воротах Ассизи: *BENEDICTA TU A DOMINO SANCTA CIVITAS DEO FIDELIS...* (Благословен Ты Господом святой город верный Богу...).

После этого его понесли дальше, в Порциунколу.

Благословение городу Ассизи, похоже, распространилось на всю Умбрию. Сколько раз я слышала от итальянцев, въезжающих в Умбрию из других прекрасных мест: из Лация или Тосканы: *Terra benedetta!* — благословенная земля! Эти слова как будто написаны на очертаниях ее холмов, на необыкновенном разнообразии зеленого, на ее цветущих лугах, на ее мягком воздухе и веселом свете. На карте Италии Умбрии принадлежит место сердца.

Закончить свою жизнь Франциск хотел там, где началась его другая, новая жизнь. В Санта Мария Ангелов, когда-то заброшенной и полуразвалившейся церкви, которую он со своими первыми братьями восстанавливал (это была третья восстановленная ими церковь). Там, трижды раскрыв Евангелие, он принял окончательное решение о «форме жизни», которую сам он и его первые братья решили избрать: «жить по форме святого Евангелия», как он напишет в своем «Завещании».

Здесь они оделись в рубища из самой грубой ткани, вроде мешковины, цвета земли — самого смиренного цвета, как полагал Франциск (художники с ним, я думаю, согласятся: смиреннее цвета не бывает), в рубища, выкроенные крестом; подпоясались грубыми веревками, какими привязывают скот, и разулись, оставшись в сандалиях на босу ногу.

Перед смертью Франциск просил положить его умирать голым на голую землю. Он до конца исполнил свое обещание верности Госпоже Нищете. Конец и начало его жизни сошлись.

И вот что в час его смерти увидели многочисленные свидетели, братья, собравшиеся проститься с ним. К дому, где он лежал, слетелись огромные стаи птиц — утренних птиц, которые, вообще-то, в темноте не летают и не поют, — множество жаворонков.

«... в указанную субботу, после вечерней службы, в начале ночи, в которую он отошел ко Господу, огромное множество птиц, именуемых жаворонками, опустилось на крышу дома, где он лежал, и невысоко поднявшись, они стали кружить, образуя колесо в форме круга вокруг крыши, и пели так сладостно, что казалось, что они хотят восславить Господа» (ЗЕРКАЛО СОВЕРШЕНСТВА. 113).

Это было последнее чудо, посетившее Франциска на земле: прощание жаворонков.

Жаворонок с капюшоном, *allodola capellata* (по-русски хохлатый жаворонок) был любимой птицей Франциска. Скромность и самозабвение — это он любил в жаворонках: два необходимых качества хороших монахов, как он полагал. И оперенье у них, как у Меньших братьев, цвета земли. Он обращался к ним: сестры мои жаворонки! (по-итальянски *allodola* женского рода).

Итак, жаворонки отпели его первыми, опередив людей. Спустя столетия композитор Доменико Стелла, францисканец, написал музыку, вдохновленную этим птичьим отпеванием.

Не одни жаворонки: Франциску случалось дружить и с другими птицами. Все, вероятно, знают историю о его проповеди птицам (есть варианты: разным птицам — или исключительно раскричавшимся ласточкам), есть рассказы о его дружбе с фазаном, соколом, с дикими горлицами, с какой-то неименованной речной птицей... Себя самого — ! — он узнал в черной курице, которая ему приснилась:

«Ему привиделась маленькая черная наседка с лапками, опушенными перьями, наподобие домашней голубки. Кругом нее было такое множество цыплят, что она не могла собрать всех себе под крылья и малюткам приходилось вертеться вокруг нее³.

Проснувшись, он стал размышлять над сновидением; и Дух Святой сразу же дал ему угадать, что наседка эта изображала его самого.

— Это я, — подумал он, — такая курица, потому что я мал ростом и темен и потому что должен быть прост, как голубка, и парить к небу, употребляя перья добродетелей» (ЛЕГЕНДА ТРЕХ СПУТНИКОВ. XVI, 43).

Птицы слетелись, встречая его приход на гору Верна, где он вскорости воспринял Стигматы, и Франциск удовлетворенно заметил: «Видно, сестрам нашим птицам наш приход по душе!»

Вероятно, первый образ, который вызывает в памяти читателя имя Франциска Ассизского, — это фреска Джотто: Франциск, склонившись, уважительно поучает птиц, которые скромно и внимательно его слушают, и благословляет их. Мне не меньше нравится, как эту сцену изобразил Беноццо Гоццоли: на лице Франциска двойное внимание: зрение направлено к сестрам птицам, а слух — в небеса, в которые он постоянно вслушивался: туда, по счастливому выражению композитора В. Сильвестрова, был направлен взгляд его слуха.

³ У этого почти комического сна есть, однако, новозаветный прообраз. «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица (кокошь на славянском) птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13, 34). Христос, скорбя о Иерусалиме, сравнивает себя с курицей!

Но не только птицы. Кажется, первым живым существом, к которому Франциск обратился со словом «брат!», был свирепый губбийский волк-людоед, державший в ужасе всю округу. С братом волком Франциск, бесстрашно выйдя ему навстречу, заключил мирный договор.

Сестрами и братьями для Франциска были цикады и ягнята, звезды и земля... Он с почтением наступал на камни и обходил дождевых червей.

Франциск Ассизский, друг и собеседник бессловесных тварей — это то, что о Франциске в наше время больше всего известно «широкому миру», иначе говоря, людям, далеким не только от католической церкви, но и от христианства вообще. Это то, что о нем знают и что в нем любят. Франциск стал всемирным патроном защитников животных и разнообразных экологических движений.

Но здесь требуется уточнение. Сказать, что Франциск «любил природу» и хотел, чтобы человек охранял «природу» (от собственной активности, вообще говоря), было бы неверно. Несомненно, он хотел от человека почтения, бережности и благодарности к бессловесным созданиям, которых он называл братьями (но не «братьями нашими меньшими», как русский поэт). Однако то, что он любил в них и почитал, было для него не «природой», а «творением». Он знал и чувствовал, что и сам он — создание Божье, и потому все они, изделия одного Творца, были для него «братьями» и «сестрами». Братьями или сестрами (в зависимости от грамматического рода) были для него не только живые твари, но и стихии, и небесные тела: брат огонь, сестра вода, брат ветер, сестра мать земля... Кстати, как среди живых тварей Франциск особенно полюбил брата жаворонка, так среди стихий он особенно благоволил к брату огню: «ибо крепок он и отраден, и грозен, и весел, и могуч» (Песнь брата Солнца, или Похвала творений).

Когда требовалось потушить огонь в светильниках или в очаге, Франциск не мог этого сделать и просил заняться этим кого-нибудь из братьев. Даже пожар ему не хотелось тушить. Огонь — как пишут его биографы — отвечал ему взаимностью: он не жег его и не причинял

боли. «И свирепые стихии были с ним деликатны», замечает Бонавентура. Может быть, в земном вещественном огне он узнавал другой: «пламя небесной отчизны», которое, как он говорил, побеждает всякую внешнюю стужу и озноб; тот сведенный на землю огонь, который видели в нем его братья: Фома Челанский писал: огонь, о котором говорил Христос («Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Лк. 12, 49), горел во Франциске.

И земная сестра вода, которую Франциск хвалил за то, что она «весьма усердна, и смиренна, и полезна, и чиста» (Песнь брата Солнца), могла быть для него образом Живоносного Источника: «С жаром небывалого благоговения в каждом из созданий, как в ручье, он упивался вкусом их общего источника, Милости (или: Благодати, *Bontà*) и нежно призывал их, как некогда пророк Давид, славить Бога» (Большая легенда. XI, 1). Франциск, как его современники, обладал вкусом к символизму, к сплошной символизации реальности. Но это ничуть не мешало ему разглядеть каждое перышко у символического жаворонка-монаха.

«... когда я жил в грехах, невыносимо было для меня даже видеть прокаженных». Это все, что Франциск в своем «Завещании» рассказывает о собственной жизни до обращения. Но было там и что-то еще: что-то такое, что в его новой жизни нашло свое продолжение и неожиданное исполнение.

О двух таких обстоятельствах я уже упомянула: о страстном желании Франциска стать рыцарем — и о том, что его служение Госпоже Нищете напоминает любовные истории трубадуров. О рыцарстве я еще, вероятно, скажу. А сейчас — о втором.

Юный Франциск, оправдывая свое имя, а вернее, прозвище (он был крещен Иоанном, но отец прозвал его Франциском, Франческо, то есть «французским» или «французиком»), любил стихи французских труверов, знал их наизусть и пел; этой привычки он не оставил и в новой жизни. Мы не знаем, какие именно песни он пел «на галльском наречии» (и был ли это провансальский или старофранцузский язык), не знаем, складывал ли он их сам. Но знаем, что темой своей проповеди он

однажды избрал один из центральных сюжетов этой светской любовной лирики — радость страдания (РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИГМАТАХ. I). Служение Даме, прославление Дамы, единство Любви и Смерти, страдания и радости — все это мы видим в его служении Госпоже Нищете.

Франциск стал поэтом среди святых. Не только потому, что он сложил одно из первых стихотворений на народном языке, «Песнь брата Солнца» и немало лауд на латыни (как, например, замечательную «Хвалу добродетелям»). Но потому, что он видел мир и вел себя в нем как поэт.

Какую это имеет связь с тем, с чего мы начали эту главу: с отношением Франциска к бессловесным тварям, стихиям, неодушевленным предметам? Самую прямую. Мы говорили о богословском обосновании его любви к сотворенному миру. Но есть в этих его разговорах с сестрами птицами и сестрами цикадами другая сторона. С таким удивлением и восторгом, с таким доверием к «понятливости» мира относится к вещам каждый маленький ребенок. А среди взрослых — поэт.

*Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.*

Обращения поэтов к вещам бессловесным многим представляются просто риторической фигурой, привычной в стихотворной форме. Но до того, как стать фигурой — и даже став ей — это обращение к нечеловеческим («неодушевленным» или «абстрактным») вещам обладает несомненной душевной реальностью.

*О бедность, изучил я наконец
Урок твой горький...*

Франциск, который «сделал себя маленьким», по словам Данте о нем, которые мы взяли эпиграфом (*pusillo* может значить и «малый, ничтожный», и «младенец, малый ребенок»), принес в собрание святых новый

образ (или, как тогда говорили, новую форму) человека: *homo poeta*.

Как сам Франциск совсем незадолго до смерти сказал братьям, посылая их петь «Песнь брата Солнца» по всему свету:

— А кто же еще слуги Божии, как не Его жонглеры, которые должны ободрять сердца людей и приводить их к радости духа? (ЗЕРКАЛО СОВЕРШЕНСТВА).

Но не надо сравнивать эту радость с весельем скоморохов (как иногда делают): такой веселости Франциск совсем не любил. Смех, шутовство, высмеивание, обличение — все это было так же неприятно ему, как сплетни и клевета, в которых он видел тягчайший грех («Клеветник хуже убийцы, — говорил он. — Клеветник пьет кровь души ближнего»).

Его радость была не только неотделима от страдания: она росла из страдания. Это была радость Креста.

КРЕСТ И НИЩЕТА

Мы уже упомянули, что свое прямое задание Франциск получил, молясь перед Распятием:

«Когда он проходил возле церкви Дамиана, ему было внушено войти. Войдя, он принялся молиться перед образом Распятого, и Тот сказал ему с нежнейшей добротой:

— Франциск, ты не видишь, что дом Мой рушится? Иди же, поправь его для Меня.

В трепете и изумлении юноша отвечал:

— Господи, я с радостью сделаю это» (ЛЕГЕНДА ТРЕХ

СПУТНИКОВ. V, 14).

«Без толкований» Франциск понял это совсем просто: необходимо восстанавливать эту заброшенную церквушку — и немедленно принялся собирать для этого камни. Здесь к нему и присоединились первые братья. Вместе они восстановили три заброшенных храма в окрестностях Ассизи. «Большой» смысл этого задания — или призвания — понял Папа Иннокентий III (1198–1216), который дал Франциску и его братьям первое одобрение избранного ими образа жизни (во всем следовать Евангелию) и дал им разрешение свободно

проповедовать (а миряне по церковным законам того времени права на проповедь не имели). Получив одобрение Папы, Франциск и его братья имели что ответить тем, кто заподозрил бы их в еретичестве (а такое случалось; но о пауперистских движениях этого времени — катарах, альбигойцах, патарах — я здесь говорить не буду). Это было удивительное решение, какого никто из «здравомыслящих» людей Церкви не мог бы ожидать. Еще удивительнее оно, если представлять себе образ мыслей этого Папы.

Папа Иннокентий III, еще будучи кардиналом Лотарием деи Сеньи, написал знаменитый труд в трех книгах «De Contemptu Mundi Sive De Miseria Humanae Conditionis Libri Tres» («О презрении к миру или Об убожестве человеческого положения, в трех книгах»). В каком-то смысле это была «сумма» того настроения, от которого, как писали все биографы Франциска, его явление освобождало людей, как весна от зимнего оцепенения или утро от ночной тьмы. Это настроение называют пессимистическим аскетизмом. Падшему человеку нечего делать, как только постоянно, до самоистязания приносить покаяние в своих грехах и не поддаваться на мирские соблазны, потому что в падшем мире ничего кроме соблазнов нет. Убожество всего того, что в мире представляется красивым, желанным, ценным, подробно разъясняется в трех ученых эрудированных книгах. Вообразите на этом фоне Франциска брата волка или сестру воду!

И вот автору этого трактата, теперь уже Папе, перед приходом Франциска было видение (оно описано и у Фомы Челанского, и у Трех спутников, и у Бонавентуры): «Ему привиделось, что латеранская базилика св. Иоанна собирается рухнуть; но тут некий монах, малого роста и убогого вида, поддержал ее, подпирая собственными плечами» (ЛЕГЕНДА ТРЕХ СПУТНИКОВ. XII, 51). Он долго размышлял над этим видением — и в пришедшем к нему с кучкой таких же нищих мирян ассизском бедняке с его самодельным «Правилom» (так называемым первым, не сохранившимся Правилom, сплошь состоявшим из евангельских цитат), ничуть не похожим на разумные, подробно и точно расписанные монастырские Уставы, Иннокентий III узнал того невзрачного монашка,

который в его видении удерживал от падения главную папскую архиепископальную базилику, Сан Джованни ин Латерано, построенную императором Константином, *omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput*, «всех церквей града и мира мать и главу». Он понял, какому «дому Божьему» грозит крушение и что на самом деле поручено «убогонькому Франциску». «Поистине, — сказал он, — вот этот человек и удержит Церковь от падения и подвигом своим, и учением Христовым» (БОЛЬШАЯ ЛЕГЕНДА. III, 10).

Я начала этот рассказ с того, что Франциск услышал свое задание, молясь перед Распятием. Крест — главный мотив жизни Франциска. И это Крест Распятия, Крест Страстей, *Crux Passionis*, а не Крест Славы, Крест Победы, *Crux Glorise*, который некогда увидел в небе император Константин. Я только напомним, что вплоть до конца VII века фигура Распятого не изображалась на Кресте. Молитва перед Крестом Победы должна была идти несколько другим путем, чем перед Крестом Страстей. Франциск видел Христа распятого, страдающего — и нищего. Нищета Христа — вот что вдохновляло его преданность Госпоже Нищете. Он часто говорил об этом: о том, что только Нищета не покинула Его на Кресте. Данте выразил это в двух строчках:

*Si' che dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce —
Так что когда Мария оставалась у подножья,
она со Христом плакала вверху, на Кресте*⁴.

Это сопоставление Нищеты с Богородицей, возможно, восходит к каким-то высказываниям самого Франциска о Госпоже Нищете. Оно сохранилось в других ранне-францисканских текстах: «Когда сама Матерь у воздвигнутого Креста... не могла до Тебя дотянуться, Госпожа Нищета... теснее, чем прежде, к Тебе прильнула, с Тобой, распятым, соединясь». «*Immo ipse matre, propter altitudinem crucis... te non valente continere, domina Paupertas... te plus quam unquam fuit strictius amplexata et tuo cruciate iuncta*» (UBERTINO DA CASALE. ARBOR VITAE CRUCIFIXAE. V, 3).

4 PAR. XI, 71–72.

В распятом, нищем, больном, изъязвленном Христе, которому поклонялся Франциск, ожил Муж скорбей из пророческих книг.

«Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презируем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 3–5).

Франциск вспоминал эти слова, когда увещевал своих братьев милостиво относиться к изгоям: к прокаженным и даже душевнобольным (а в душевной болезни в то время видели одержимость бесами; Франциску, кстати, случалось и изгонять бесов). Он мог узнать образ Христа в том, в ком другие видели человека, отвергнутого или наказанного Богом и отвратительного для людей. «Я не был бы другом Христа, — говорил он, — если бы не любил души, ради избавления которых Он принял муки».

Как говорят его биографы, Франциска пронзил меч сострадания Христу; он хотел самым прямым образом приобщиться к Его страданиям.

Бонавентура, автор официального жития святого Франциска, насчитал семь явлений Креста в его жизни (Большая легенда, XIII, 10). О первом, в котором Франциск получил задание всей своей жизни, мы уже рассказали. Последним — за два года до кончины — было восприятие Стигматов на горе Верна: пяти крестных ран распятого Христа, на стопах, на кистях рук и в ребрах. Эти раны кровоточили и не заживали всю оставшуюся Франциску жизнь. Всю оставшуюся жизнь Франциск продолжал скрывать их ото всех. Об этом событии, не имевшем прецедентов в течение двенадцати веков христианства, читатель может прочесть в «Размышлениях о Стигматах».

Перед восприятием Стигматов — событием, совершенно неожиданным для него, как и всё другое, что с ним происходило, — Франциск просил о двух вещах: о том, чтобы в какой-то доступной ему мере пережить крестные страдания, — и о том, чтобы в доступной ему мере пережить ту любовь, которая привела Христа на Крест.

Это седьмое явление Креста Франциску было уже не явлением, а прямым вхождением Распятия в его плоть.

Это и было исполнение той радости страдания, которой служил Франциск. Она сделала его чудотворцем.

МУЗЫКА ФРАНЦИСКАНСТВА

Чудеса с самого начала его новой жизни окружали Франциска, как воздух. Читая истории о нем, порой кажется, что дело происходит уже не на земле, а в пространстве сказки, где перестает действовать сопротивление материалов, земное тяготение, биологические и другие «естественные» законы. В житиях многих святых мы встретим эти победы над «естества чином», но вокруг Франциска они становятся как бы его родной стихией, вторым явлением «первородной невинности» (как говорит об этом Бонавентура), которой не может противиться ни зверь, ни человек, ни вещество. И этот дар чудотворства никогда не был направлен на себя. Франциск, который, как сообщают свидетели, мог прикосновением исцелять самые страшные недуги, ничего не предпринимал для облегчения собственных мучительных болезней. Брату, который из сострадания предложил ему помолиться о том, чтобы Бог его хоть немного пощадил, Франциск ответил очень сурово.

Я уже много говорила о Госпоже Нищете, евангельской нищете Франциска. Эта нищета имеет в виду не только полную необеспеченность, но и полную разоруженность человека, его добровольную беззащитность перед миром, который может быть к нему крайне враждебен. Об этом Франциск рассказывает брату Льву в своей притче о совершенной радости. Обыденный опыт не дает поверить, что в таком положении можно найти не то что совершенную, но самую маленькую радость. Но тот, кто испытал что-то похожее, может свидетельствовать: именно здесь она возможна, и даже только здесь, где у тебя ничего «твоего» не осталось...

Франциск явился как утешение. *Утешение* в духовном контексте значит не то, что в обыденном языке. *Утешителем*, *Параклетом* именуется Дух Святой.

В обыденном языке «утешить» — значит как-то примирить человека с наличным (печальным, тяжелым, невыносимым) положением дел (самые обычные «утешения» в этом случае: ничего, все пройдет! или: Могло быть и хуже!). *Утешение*, как его употребляют в духовном контексте, — скорее нечто противоположное: это ободрение, уверенность в том, что всё — и это положение, и себя самого — можно «приподнять», освободить, очистить. Что для этого будут даны силы. Это утешение звучит как литургическое *Sursum Corda!* (*Горе имеем сердца!*). Такое *утешение* — вектор вверх, который внезапно открывается сердцу, выход в свободу из тесноты. Когда Франциск получал *утешение* в своих молитвах, он, возвращаясь к братьям, старался скрыть его отпечаток на лице — видимо, подобный тому сиянию, которое было на лице Моисея после того, как он спустился с Синая.

Утренняя звезда, восходящее солнце, весенний ветер — всё это образы утешения. Вероятно, это и привлекало к «убоному Франциску» толпы и толпы людей разных возрастов и сословий. Он задел в человеческом сердце какие-то струны, которые долго молчали, но их звука человек всегда — и не сознавая этого — ждет. «Задеть струну» в этом случае — не тривиальный оборот речи. Франциск, как мы знаем от его биографов, иногда сильно скучал по музыке, по струнной музыке. Если рядом не случалось музыканта, ему, как рассказывают «Цветочки» и «Зеркало совершенства», играли ангелы (на чем-то наподобие виолы или арфы) и *утешали* его. Или сам он брал с земли деревяшку и другой деревяшкой водил по ней, упиваясь не слышной остальным музыкой.

Как назвать эти струны, которые задел Франциск?

Струна нежности

Мы говорили о том, что в страдающем Христе Франциска ожил пророческий образ Мужа скорбей. Но ожил и другой пророческий образ Мессии, Отрок Божий из Исайи: тот, кто «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине» (Ис. 42, 3).

Душа приучается жить в грубом мире, где ломают не только надломленные трости, но

и совершенно целые; она и сама как будто уже не умеет жить иначе: но как она скучает по этому щадящему — и праведному — прикосновению!

Что касается «суда по истине». Есть история о том, как ученый богослов спрашивал Франциска о его понимании грозных слов пророка Иезекииля: о том, кто не остережет беззаконника от беззаконного пути его — «и тот умрет в беззаконии своем... Я взыщу кровь его от рук твоих» (Иез. 3, 18). Богослов признавался, что сам он часто не вразумлял и не остерегал беззаконников: как же ему быть? Франциск отвечает так: вразумляет и обличает грешников твоя святая жизнь, «святость дел и слов», свет и благоухание твоей доброй славы. Других обличений не требуется.

Заметим по этому случаю: Франциск, палатин Ницеты, никогда не обличал богатства и богатых; у него были друзья и почитатели среди самых богатых и знатных людей, и он никогда не отказывался от их приглашений; случалось, что кто-то из них уходил за ним. И еще: Франциск никогда не обличал Церковь, ни ее недостойных служителей. Но это отдельный и долгий разговор.

И ученый богослов, услышав его ответ, сказал: «Богословие этого человека, основанное на чистоте и созерцании, парит, как орел, а наша наука ползет ползком по земле» (ЗЕРКАЛО СОВЕРШЕНСТВА. 53).

Все добродетели, согласно Франциску, связаны сестринским родством («Хвала добродетелям») и все они изгоняют пороки. *Нежность* никогда не включали в число общеизвестных добродетелей. Можно решить, что она просто разновидность любви. Но она стоит того, чтобы посмотреть на нее отдельно. Нежность — продолжая «Похвалы» Франциска — изгоняет многое: подлость, насмешку, грубое желание овладеть и использовать, всякое насилие — и действенное, и словесное. И сестра ее — чистое веселье, *laetitia spiritualis*. То особое чистое веселье, которое мы всегда узнаем как францисканское.

Когда Папа Франциск в начале своего понтификата заговорил о «революции нежности», в которой нуждается современный мир, я подумала: как же он любит Франциска, имя которого выбрал для себя.

Струна простоты

Это тоже редчайший звук в мире. «Франциск не был простым от природы (*per natura*), он стал простым по благодати (*per gratia*)», — замечает Фома Челанский. Сестрой простоты Франциск называет премудрость.

Уже из этого понятно, что простота, которой хотел Франциск и которую он любил, не имеет ничего общего с той простотой, которая хуже воровства, то есть с недалекостью и неотесанностью. Можно сказать, простота Франциска прямо противоположна простоте как грубости: это большая дальновидность и филигранная отточенность. Францискова простота — отсутствие блуждания ума, хитрых измышлений (*мудрований плоти*), расчетливости и лукавой уклончивости. Простота — это когда человек целиком присутствует в своих словах и делах. То, что мы назовем цельностью и искренностью, а кто-то еще — простодушием или чистосердечием. Стать по-настоящему простым очень трудно, и в нашей цивилизации этому не учат.

Францискова простота — сестра премудрости. Это неожиданно для обыденных привычек (премудрость обычно считается чем-то очень непростым). Простота, говорит Франциск, видит сердцевину ствола, а не кору.

Не менее неожиданно единство простоты с учтивостью, великодушием, вежливостью — церемонностью, если угодно — с *cortesia*. *Cortesia* — особая ценность эпохи Франциска. Она входит в кодекс рыцарства; рыцарь готов умереть, но не нарушить закона *cortesia*. Ее воспевают и практикуют трубадуры. Мы помним, что рыцарство и поэзия трубадуров были так дороги Франциску в юности. Но он пошел дальше рыцарей и трубадуров: он увидел это свойство, *cortesia*, в самом Боге! Вот его слова одному из братьев:

«Знай, дорогой брат, что учтивость (*cortesia*) — одно из свойств Бога, который из учтивости (*per cortesia*) равно посылает дождь и солнце праведным и неправедным; и знай, что учтивость — сестра милосердия: она угашает ненависть и хранит любовь» (FIORETTI. 37).

В других беседах Франциск трактует всякий грех как нашу неучтивость в отношении Господа.

Да, это уникальная францисканская музыка: особая, чистосердечная учтивость. Мы сразу узнаем

ее — в стихах Арсения Тарковского, например, — может быть, самого «францисканского» из русских поэтов:

*Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что вы по-варварски свободно говорите,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.*

Или:

*И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей.
Мимо всей вселенной
Я пойду, смиренный,
Тихий и босой,
За благословенной
Утренней звездой⁵.*

Далее, *струна благодарности*

Этой струны Франциск касался не только разговаривая с людьми, но и беседуя с бессловесными созданиями: разъясняя птицам, за что они могут быть особенно благодарны своему Создателю. Он мог разъяснить это любому созданию. И задетая им струна звучала: ему отвечали благодарностью — как брат огонь, который его не жег, как сестры жаворонки, среди ночи слетевшие воспеть и отпеть его.

Когда звучит внутренняя струна благодарности (можно и так: когда загорается огонь благодарности) — сколько безобразных душевных шумов и теней исчезает без сопротивления!

Можно еще и еще называть струны францисканской музыки. *Струна доверия* и сестра ее

- ⁵ У Тарковского звезда нищеты остается утренней. Р.М. Рильке в третьей части своего «Часослова» («Das Buch der Bilder»), «О нищете и смерти», посвященной Франциску, говорит о ней как о вечерней звезде.

*Was steigt er nicht in ihren Dämmerungen —
Der Armut großer Abendstern.
Что же она не поднимается в их сумерках —
Великая вечерняя звезда нищеты.*

бесстрашие... И основная, может быть, из всех этих струн, без которой другие не звучали бы так чисто, — радостное умаление:

«И были мы невеждами и слугами каждому человеку» (ЗАВЕЩАНИЕ. 10).

Само именование братства — Меньшие братья, Минориты — было, по его признанию, открыто Франциску свыше (ЗЕРКАЛО СОВЕРШЕНСТВА. 26). Быть малым, меньше и ниже всех, и быть слугой любого человека в мире. Почему? Потому что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить...» (Мф. 20, 28).

Быть по существу почти ничем — и участвовать в делах, которые почти невозможно совершить, как это сказано в «Простой молитве»:

*туда, где ненависть, чтобы я нес любовь
туда, где обида, чтобы я нес прощение
туда, где раздоры, чтобы я нес единство;
туда, где сомнение, чтобы я нес веру
туда, где заблуждение, чтобы я нес истину
туда, где отчаяние, чтобы я нес надежду;*

*туда, где печаль, чтобы я нес радость
туда, где мрак, чтобы я нес свет.*

Эта «Простая молитва», которой Франциск не сочинял⁶, — не просто ряд прошений, но точный рассказ о том, что Франциск сделал в мире, который «он оставил».

.

На этом я и закончу мои вступительные заметки. Я не коснулась многих тем, связанных с Франциском и его братством. Читатель может прочесть о чем-то из этого в небольших вступлениях, предваряющих отдельные тексты, включенные в эту книгу.

.

⁶ Ее историю я рассказываю в предисловии к ней в этой книге.

О СОСТАВЕ КНИГИ

Эта книга — мозаика из разных текстов, входящих в корпус раннефранцисканской литературы XIII–XIV веков.

Первый раздел я составила из самых известных, «ключевых» францисканских текстов: они как бы задают общую тональность того, что можно назвать францисканским настроением. Это сложенная св. Франциском «Песнь брата Солнца, или Похвала творений» с присоединенной к ней историей ее создания, взятой из «Зеркала совершенства»; это знаменитая «Притча о совершенной радости» в ее версии, признанной наиболее аутентичной; это, наконец, «Завещание святого Франциска» (так называемое «Большое завещание»).

Второй раздел составляет «Легенда трех спутников», которую долгое время считали самым первым житием св. Франциска, написанным его ближайшими братьями, Львом, Руфином и Ангелом; в настоящее время эта атрибуция отклонена; тем не менее «Легенда трех спутников» признана лучшим из неофициальных житий св. Франциска.

Третий раздел включает почти все тексты, продиктованные самим св. Франциском: молитвы, послания, наставления, завещания (за пределами книги остается только большая «Служба Страстям Господним», своего рода центон из стихов Псалтыри, и два «Правила»).

Четвертый раздел — разрозненные рассказы о св. Франциске, взятые из «Зеркала совершенства», «Цветочков» и «Второго жития» Фомы Челанского.

Переводчик дал этим рассказам новые названия, так что исходные стали как бы частью самого повествования.

Пятый раздел — «Размышления о святых Стигматах».

Шестой раздел — выборка из «Слов брата Эгидия», одного из первых учеников св. Франциска.

«Размышления о святых Стигматах» и «Слова брата Эгидия» — два самостоятельных опуса, традиционно присоединяющиеся к «Цветочкам».

Эту книгу я посвящаю
Галине и Олегу Новиковым —
с любовью и благодарностью
за щедрую помощь,
которую они мне оказали
в работе над этой книгой
и во многом другом